

ПЛЕННИКИ БАБЫ ЯГИ

(Фрагменты)

Была такая сказка. Пошли дети в лес – да там и заплутались. Вышли на поляну – посредине избушка на курьих ножках. Зашли – сидит старуха с костяной ногой. Кудесница, Баба Яга. «Фу-ты, – говорит. – Гости нагрянули!» И давай колдовать. Так они у нее и остались. Зачарованные, смотрят древние сны... Но это только при-сказка, а сказка – впереди.

* * *

Десятилетие и два назад этих писателей называли «деревенщиками». То ли орден, то ли кличка: непременно в кавычках, которыми в культуре эпохи было принято метить переносное, метафорическое значение слова. На самом деле, став литераторами, «деревенщики» в деревне бывали обычно только наездами, по-дачному. Деревенской была их тема. В «деревенской прозе» речь шла о деревне, о сельских жителях. <...>

Сельская тема получила странную льготу. В рамках этой темы дозволена была большая мера откровенности. Как-то вдруг показалось, что о деревне можно писать откровеннее, чем о чем-нибудь другом. Иные критики застенчиво оговаривались: на самом, мол, деле «деревенщики» пишут не просто о деревне, они ведут «фило-софско-этические поиски». Спасибо за это неведомому гражданину начальнику.

Я помню, и многие помнят, как волновало в те беспросветные годы честное, искреннее слово. Как радостно угадывалось оно в потоке полуправды, в насквозь профальшивленном мире идеологического официоза. Как навсегда принималось сердцем. Именно с тех пор стали близкими для читателей имена Абрамова, Белова, Распутина, Астафьева, Залыгина, Носова и других авторов «деревенской прозы». Подспудное влияние общественного мнения и порочной критики обеспечило этим писателям место в первом ряду тогдашней литературы. <...>

* * *

С чего начиналась эта литература? Как всякое живое и новое слово в 50-х годах, с поиска правды. С честного свидетельства. <...>

У новых людей социальный опыт не совпадал с насаждавшимися в литературе представлениями о жизни. А главное – они хотели сказать о том, что знают сами. Писать не о празднике жизни, а о «районных буднях» (так назывался цикл очерков Валентина Овечкина). И вот неуместное, невыгодное государству слово о деревне затопорщилось в прозе Ефима Дороша, Федора Абрамова, Александра Яшина...

В очерковой прозе новой волны читателю открылась иная Россия: страна скудно живущих деревень, мир крестьян, непохожих на тех социалистических пейзажей, каких изображал классик соцреализма Бабаевский в своих увенчанных лауреатскими звездами шедеврах. Предметом изображения стали хозяйственные неурядицы, бесправие крестьянина, живописались коллизии сельской жизни и социальные персонажи колхозного мира. Очерку не хватало глубины в исследовании корней того или иного явления. Но сами явления показаны такими, какими они были. Не хуже и не лучше.

Честность в изображении обстоятельств крестьянского житья-бытья сочеталась с тревогой и болью, с сочувствием к человеку, попавшему в трудный переплет, с горячим стремлением найти выход из тупика. Литератор защищал деревню от злого начальства и звал к реформам в ней. <...>

* * *

Те, кто входил в литературу и осваивался в ней на волне перемен 50-х годов, с первых шагов усвоили опыт неслыханной до той поры, потерянной и забытой их старшими коллегами свободы. Это не была свобода от социального задания, от общественного ангажемента. Но это была свобода от принудительности в творчестве, от навязанной идейности. Очеркист обретает чувство собственного достоинства и подчас даже воображает себя мудрым советником вождей. Он именно советчик, а не антисоветчик. Он показывает и объясняет, чтобы его выслушали и сделали поправки внутри системы. Ее главные ценности дрогнули, но не рухнули: идея социализма светит над миром путеводной звездой. Очерк живет надеждами на благоприятные перемены.

Однако постепенно вера слабеет, надежды оскудевают. Меркнут зарницы справедливого и великодушного коммунизма. Горизонт отчаянно мрачнеет. Кризис общепринятой, легальной веры ввергает в растерянность, заставляет по-новому самоопределяться по отношению к прежним и вечным ценностям, к потерявшему идейную санкцию государству, к народу, к ближнему. Из тупика нужно было выходить по бездорожью, а для этого требовался новый посох. Человеческое существование должно было быть оправдано связью с новым, не скомпрометированным абсолютом.

В литературе эта нужда сознавалась по-разному и в разные сроки. Но мало-помалу все, кроме откровенных приспособленцев и равнодушных ремесленников, включились в поиск новой почвы, новой веры. В этот поток попали и писатели сельской темы. Из их прозы уходит подспудное или откровенное упование на социальные реформы, на улучшения сверху. Мало того, обиды и беды деревни часто записываются на счет власти. Ей вменяется в вину неудовлетворительное положение дел на селе. Власть, присвоившая себе все права, теперь должна нести ответ за все на свете.

Но среди литераторов этого направления такого рода осознание крайне редко выливается в откровенное противостояние художника и власти. Гораздо чаще угадываются попытки на эту власть каким-нибудь образом воздействовать, как-то ее образумить, попытаться с нею сотрудничать: использовать легальные возможности творчества... <...>

Уронив костыль официальной идеологии, утратив чрезмерную надежду на социальные преобразования, писатель углубился в жизнь. Он оказался на распутье. И для многих место рождения и край детских грез стали той родиной, где не просто легко и радостно жить – там, на этом клочке земли, они попытались найти незамутившиеся, родниковые истины.

Очеркисты все пристальнее всматривались в лица своих героев, пытаясь угадать, каков их духовный мир, чем они живут, к чему стремятся. Здесь авторов «деревенской прозы» ждали новые открытия.

Перенос центра тяжести с хозяйственно-политических проблем на проблемы этические был закономерен. Он явился – еще раз заметим – следствием разочарования в легальной морали, санкционированной идеологическим аппаратом. И «Моральный кодекс строителя коммунизма» лишился доверия не потому, что был осо-

бенно безнравствен. Кодекс рухнул после того, как открылась иллюзорность цели, ради достижения которой требовалось исполнять его заповеди. Оказались фиктивными социальные идеалы, во имя которых шли на лишения, жертвовали собой, составляли программы обновления социализма, писали стихи и прозу.

Кризис официальной морали заставил обратиться к жизни, к собственному опыту в поиске моральных идей, не подверженных всеобщему распаду. Возникает перспектива для создания разных моральных версий человеческого поведения в обстоятельствах, которым отныне отказано в праве считаться близкими к идеалу. Обстоятельства тяжелы, превратны, фатальны. Человек может приспособиться, примениться к ним. И подобных героев нередко изображают теперь «деревенщики». Одни гнутся легко, без боли. Другие сочетают в себе противоречивые начала, как, например, главная героиня повести Абрамова «Пелагея», соединяющая трудолюбие с расчетливостью и прижимистостью. Писатель тщательно описывает этот казус, не торопясь с окончательной оценкой. Но сердце «деревенщика» по-настоящему отдано другим героям.

Иногда это бунтарь-правдолюбец. Таков Федор Кузькин из повести Бориса Можаева «Живой», вступающий в затяжную прю с властью. Таковы многие персонажи Василия Шукшина, хотя их бунт часто принимает трагикомическую окраску. Человек не укладывается в норму, желает чего-то еще. Его иногда подозревают в придурковатости, иногда он нелеп и смешон – но стоит на своем, рвется к широкой и щедрой жизни, к празднику.

Герой Шукшина с его стихийными порывами – очень традиционный русский тип. Он оказался близок самому писателю и оттого изображается им с какой-то болезненной любовью. Странность героя и возвышает его над миром, и смущает нас безудержностью дешевого эпатажа. Его достоинства сплошь и рядом оборачиваются недостатками, а писатель то нащупывает дистанцию между собой и своим излюбленным персонажем, то теряет ее.

Другие литераторы отыскиали иного персонажа, с которым связали свои надежды и которого одарили безоглядной любовью. Правдивое бытописание дополнилось, обогатилось за счет появления обязательного, значительного героя, напомнившего нам, что одна из главных мыслей русской литературы – это мысль о праведности.

Поворот этот был предварен и, можно сказать, намечен Александром Солженицыным в рассказе «Матренин двор». С Матреной

и вошел в «деревенскую литературу» герой-труженик и страстотерпец. Целая череда подобных персонажей идеального склада возникла в произведениях «деревенщиков». Это Василиса Милентьева в «Деревянных конях» и Михаил Пряслин в «Братьях и сестрах» Абрамова, Катерина в «Привычном деле» Белова, Нюра Питерка из повести Личутина «Вдова Нюра», бабушка Катерина Петровна в «Последнем поклоне» Астафьева...

Вся их жизнь – это терпение, лишения и труд. Испытания и тяготы не могут их сломить. Они самозабвенно отдают свои силы общему делу, близким. Их редко до конца понимают соседи и даже родичи. Но им обычно некогда почувствовать себя одинокими, ведь они погружены в непрестанные заботы.

Таким героям отданы симпатии писателей-«деревенщиков». Это для них – нравственный эталон человека. После встреч с Василисой Милентьевной рассказчик (едва ли не сам Федор Абрамов) признается: *«Меня неудержимо потянуло в большой и шумный мир, мне захотелось работать, делать людям добро. Делать так, как делает его и будет делать до своего последнего часа Василиса Милентьева, эта безвестная, но великая в своих деяниях старая крестьянка из северной лесной глухомани»*.

Писатель открыл в жизни вдохновляющий образ человека. Убедился в возможности высоты и надежности, стойкости и сердечности. Оказалось, идеал уже существует. За ним не нужно далеко ходить. И мало-помалу герой начинает оказывать на автора все более сильное воздействие. Найденный в жизни персонаж заражает писателя своей точкой зрения. Идет процесс сближения, и «деревенская проза» омывается лирической, исповедальной струей. Отныне писатель часто будет смотреть на мир глазами своего персонажа-праведника. <...>

Сельские праведники – это добрые, задушевные, трудолюбивые люди. В их опыте есть что-то стабильное, непреходящее. Этот человеческий тип формируется в русле какой-то древней традиции. В ее пределах всякая женщина – хранительница очага, мать рода. Всякий мужчина – защитник и добытчик средств жизни и культурных даров.

Нельзя не залюбоваться скульптурной, отчетливой красотой таких героев, за спиной у каждого из которых стоит теряющийся в бесконечности ряд предков, передающих из поколения в поколение, по наследству, самое главное: способ полноценной жизни. Героев-праведников, которых изобразили писатели-«деревенщики»,

порождает органическая, стойкая бытовая среда. Они – высшее создание целостного житейского уклада.

Примерно такой ход мысли привел писателей к «материалистическому» выводу: бытие определяет сознание. Уклад первичен, праведник по отношению к общему строю жизни – вторичен. Акценты смещаются, и целостный образ жизни начинает иметь самодовлеющее значение. Сверхценностью становится сама логика жизни, всецело упорядоченной ритуалами и магическими формулами, организованной идеей Лада.

Именно так – «Лад» – будет названа книга Белова о сельской жизни, осознанной как непрерывное священнодействие, полное непреходящего смысла. Все, что выбивалось из ритуальной схемы, было отвергнуто Беловым и не попало в его книгу. Истребив изъяны бытия, писатель воспел самоцельный замкнутый мир покоя и радости, где время остановилось, история упразднена и человек заново очутился в раю земном.

Здесь не отменяется, конечно, труд. Но он всецело осмыслен и оправдан заботой о продолжении рода, о сохранении жизни. Общий труд – на пользу и в радость. И редко – в тягость: при болезни. Однако хворь и тоска – это не темы для «Лада».

В царстве всеобщей правильности стираются различия между людьми и теряет свое значение самостоятельное искание ими правды. Здесь уже неуместен герой-бунтовщик, неутоленный реальностью воитель и страдалец. Непорочная чистота дарится людям в этом раю, и детская невинность становится их уделом. Мировая гармония полна такой стихийной, бессознательной мощи, что не нужно даже ничего запрещать, ибо никто не в состоянии помыслить о том, чтобы отойти от общего дела. Где Адам, где Ева? Где Древо познания? Ничего этого не было в русской деревне. Все яблоки спокойно росли на ветках, и все змии-искусители ползали где-то вдалеке.

Правильное устройство мира описано однажды Беловым (в «Канунах») на примере сосны. Это место сильно вдохновляло критиков: *«Жила, созерцала, не мешая другим, наслаждаясь солнцем, и пила поднебесную синеву каждая пара иголок, ясно видимая по отдельности. Но в то же время она, каждая пара игл, была частью, и все дружно облепляли тонкий сосновый пруттик, и каждый пруттик был на своем месте, в каждой сосновой лапке. В свою очередь, каждая сосновая лапа жила отдельно и вместе с другими; они, не враждуя друг с другом, переходили в более крупные*

ветки. Ветки незаметно перевоплощались в мощные бронзовые узлы, расчлененные по всей кроне и объединенные в ней, единой и неделимой».

Человек тут пребывает в исходной гармонии с миром, природой, человеческое существование подобно росту травы, иголок, грибов и ягод. Любая драма тихо и ласково зарастает извечным эпическим покоем.

Бывает, конечно, суровой природа. Грозят стихии. Но с ними не спорят. Да проза «деревенщиков» и не знает затяжной непогоды, слишком яростных стихийных бедствий.

Бывают злы и люди. Особенно, когда они волей каких-то входящих за пределы разумения обстоятельств становятся агентами злой власти. Однако и притязания власти воспринимаются здесь как своего рода явления природы. С ними не поспоришь, их надо молчаливо и терпеливо принимать.

Характерен поворот сюжета в «Плотницких рассказах» Белова. Рассказчик становится свидетелем споров о жизни, которые ведут два старика. Один, Ави́нер Козонков, все время был при власти, приходилось ему чинить произвол, нести беду своим односельчанам. Другой, Олеша Смолин, только терпел невзгоды от этой власти. Акценты с самого начала расставлены недвусмысленно: один – негодяй и пакостник, другой – тот самый праведник, который нередко приходил из жизни в прозу «деревенщиков».

Между Ави́нером и Олешей вспыхивает ссора, которая, кажется, все ставит на место. Но вот после всего, перед отъездом, рассказчик заходит к Смолину попрощаться – и: *«Боже мой, что это? За столом сидели и мирно, как старые ветераны, беседовали Ави́нер и Олеша. Не было ни крику, ни шуму. Бутылка зеленела между чайных приборов, на столе остывал самовар... Потом они оба с Ави́нером, клоня сивые головы, тихо, стройно запели старинную протяжную песню».*

Есть что-то превышающее частную правду. Порядок вещей. Законосообразность бытия, пред которой любая личная правда – неполна, частична. На такой лад настраивает эта итоговая сцена. И после этого гораздо понятнее становится социальный конформизм некоторых авторов «деревенской литературы», которые легко шли на соглашение с властью, а подчас и пели с нею одну протяжную песню промежду выпивкой и закуской.

Власть фатальна. Она – выражение универсальных законов бытия, как дождь осенью и снег зимой. С нею поэтому нужно мирить-

ся, надо к ней приспособливаться, пытаться ее задобрить, сделать своей, приручить, как приручили когда-то диких зверей, превратив их в полезную тварь. <...>

* * *

Иногда возникает ощущение, что в этой прозе поднят пласт глубокой патриархальной архаики. Восстает образ роевой, родоплеменной жизни, завязанной общим узлом, скрепленной едиными обрядами и магическими процедурами...

Впрочем, нужно ли этому удивляться? Вся эпоха, с ее идеалами и формами культуры, покатила вдруг в 20–30-х годах в неведомую ассирийскую и египетскую древность. Общество соскользнуло не во вчерашний и не в позавчерашний день, оно, кажется, освободилось от духовного опыта двух с половиной тысячелетий, ушло в глухие доисторические дебри, где водились цари-боги, где козел отпущения брал на себя грех и вину племени, а иступление хоровых действ сменялось тяжелым общим сном...

Рискну предположить, что проза «деревенщиков», круг их представлений могут рассматриваться как одно из проявлений глобального процесса реконструкции доосевой, магической культуры. Это может показаться парадоксом. Ведь еще совсем недавно мы отметили, что писатель не хочет слепо исполнять государственный приказ, ему нужна правда жизни. И вот – иное утверждение: о принципиальной общности архаических ориентаций советской власти сталинского образца – и многих писателей-«деревенщиков». Нет ли тут противоречия?

Боюсь, что нет. Еще раз заметим: духовная основа творчества претерпела определенную эволюцию. По сути, это выразилось в потере дистанции между личностью художника – и неким идеальным воображенным деревенским, общинным коллективом. Писатель начинает говорить голосом традиционной патриархальной общности, он смыкает свое сознание с «коллективным бессознательным» архаического коллектива. Здесь, в этой доразумной, безличной тьме и состоялась встреча художника и власти. Это не политическая сделка. Это – тайная тяга, основанная на духовном сходстве...

Реставрация древности, разумеется, везде и всюду сочеталась с усвоением новых технических достижений, с использованием отдельных матриц культуры недавнего, дооктябрьского, прошлого. Не может, в сущности, считаться открытием и тип праведника из народной среды, описанный у Лескова, Толстого, опиравшихся, в

свою очередь, на житийную литературу. <...> Но круг основных идей «деревенской прозы» в основе своей весьма далек от художественного мирозерцания крупнейших наших писателей XIX – начала XX века: художественная философия «деревенщиков» неизменно тяготеет к идеалу архаичного, общинного коллективизма.

* * *

Итак, сельский мир – это идеальное ядро бытия, источник и резервуар общей праведности. Отныне главная творческая задача литераторов – обеспечить сохранность обретенного рая.

Вспомним, куда идет история в повести Белова «Привычное дело» (это едва ли не самый значительный памятник «деревенской прозы»). Поехал герой повести Иван Африканович из деревни в город, на заработки, да вот только ничего не выездил. Растерялся, потерялся в новой, незнакомой жизни, совсем пропал – и чуть не бегом обратно, в родную обитель. А пока он ездил, жена его, Катерина, надорвалась и померла...

Что ж, в жизни бывает и такое. Однако автор рассказывает эту историю уже отнюдь не для того, чтобы просто показать, как бывает в жизни. Его замысел идет дальше. Белов настаивает на определенном моральном выводе. Смерть Катерины осознана как расплата для Ивана Африкановича. Говорила же Катерина: не езд. А он ослушался, покинул дом, бросил близких людей... Вот и плати теперь чувством вины и утраты.

Можно было бы, конечно, порассуждать о том, а чья тут, собственно, вина? Если виноват герой, то не меньше ли виновны и обстоятельства, которые заставляют его искать счастья и богатства на стороне? Но писателя вина обстоятельств занимает в последнюю очередь. Акцентируется возмездие, которое настигает героя-ослушника. Урок, очевидно, таков: живи, где родился. Не ищи удачу на стороне.

Граница сколько-то удовлетворительного бытия – околица села. Словно бы магическим кольцом замкнута эта надежная, обжитая ойкумена от остального мира. Здесь не бывает ничего непоправимого. Здесь все притерто друг к другу. Здесь человек, со всеми своими слабостями и недостатками, как-то ладит с другими людьми, а все люди вместе ладят с природой. Там, за чертой магического круга, никаких гарантий нет. Там хаос и смерть.

Странствие Ивана Африкановича невольно ассоциируется с древними мифологическими преданиями о путешествии в закол-

дованное царство, в мир смерти. Это жуткое и опасное место. За спасение, за вызволение оттуда нужно заплатить чем-то очень дорогим. <...>

В беловском мифе Иван Африканович – ослушник по отношению к неписаному закону, к вековечному порядку бытия. Он попытался внести в предустановленное круговращение мироздания элемент произвола, прихоти, своеволия – и платит за эту попытку потерей самого близкого человека.

Белов словно бы говорит: плохие люди пусть себе живут, как хотят. Их бестолковая жизнь – сама себе наказание. Но хороший человек должен жить, как положено. Как заведено от века.

Потом эти идеи будут на разный лад варьироваться у «деревенщиков». Свободная самореализация разрешена только плохим, злым – и она осознается как произвол, как проявление гордыни. А хороших людей выход в пространство свободы приводит к катастрофе, к поражению. За свободу заплачено смертью. Свобода наказуема. Свобода – зло. Верность, традиции, извечному закону бытия – добро.

Отвергнув возможность свободного самоосуществления человеческой личности, «деревенщики» смыкаются с тоталитарной властью. Человек в этих координатах значим не сам по себе, а только как часть великого целого, «гайка великой спайки». Человек знает свое место, он полезен – и вот это называется достоинством.

Между ограниченным священными рубежами социалистическим отечеством и страной деревенского лада больше сходств, чем различий. Это два разных способа организации безличностного бытия. И там, и тут свобода не предусмотрена, исключена из сакрализованного пространства.

В повести «Прощание с Матерой» Распутин однажды заметил: то, что люди *«считают мечтами, всего лишь воспоминания, даже в самых дальних и сладких рискованных мыслях – только воспоминания. Мечтать никому не дано»*. Не самое внятное у писателя место. Но проще всего его можно понять так: зря люди смотрят на небо и на что-то надеются впереди; лучшее осталось сзади. Источник идеальных представлений – в прошлом, в некоем Золотом веке, когда реальность не отличалась от мечты. Это традиционное для архаических культур представление о ходе времени (об его деградации) не однажды даст о себе знать и на других страницах «деревенской прозы».

Быть может, у Распутина здесь намек на воспоминаемый Эдем, откуда был однажды изгнан человек за грех непослушания, за нарушение доверия? Быть может. Но не очень похоже. Матера – сама по себе Эдем. Средоточие бытия, райская пристань среди бурных вод, где вздымается посреди мира древо жизни – царский лиственъ. И люди здесь жили светло и мирно, почти не знакомые с грехом. Они не несли на себе груза личной ответственности, поскольку были сращены с деревом рода, которое уходит корнями и ветвями в вечность. Человек – только *«кольцо в нескончаемой цепи»* поколений, как сказано у Распутина в другом месте. Он призван сохранить и продлить эту цепь. По словам одной из героинь повести, старухи Дарьи, *«Господь жисть дал, чтоб ты дело сделала, ребят оставила – и в землю... чтоб земля не убывала. Там теперь от тебя польза»*.

Так решается здесь проблема смерти. Важно, *«чтоб земля не убывала»*. Впрочем, тема эта далеко не второстепенная и на ней стоит задержаться.

Проблема смерти – главная проблема человеческого бытия. По сути, вся культура человечества разными путями пыталась ответить на роковой вопрос об оправдании жизни перед фактом ее конечности. Абсолютный конец обесмысливает, делает относительным и призрачным все, что ему предшествует. Смерть как абсолютный предел земного существования конкретного человека диктует необходимость и неизбежность поиска иных абсолютов, делающих конец неокончательным. Смерть должна быть отменена, изжита – чтобы можно было жить.

Белов влагает в сознание своего Ивана Африкановича знаменательные мысли. Дело было в лесу, куда забрел герой под самый конец повести – и заблудился. Лес этот, конечно, непростой. В мифологической древности он считался бы аналогом царства смерти. И заблудился Иван Африканович не без писательского умысла. Только в лесу, в критической, пограничной ситуации, Иван формулирует свой вопрос к мирозданию: Зачем жить, если все равно умрем? Если впереди – только *«одна чернота, одна пустота»*? Где искупление за страдание и зло бытия? Был и нет...

Ивану открылась вопиющая несправедливость бытия, ограниченного смертью. Его потряс мучительный опыт вселенского одиночества, пришло переживание абсурда, в который обращается жизнь, лишенная измерения вечности. Это – внезапное, глубинное прозрение в суть вещей, которое когда-то разбудило Сократа и Буд-

ду, обрушилось на Паскаля и Кьеркегора, ошеломило Достоевского и Толстого...

Две странички «Привычного дела» стали одним из высочайших откровений в литературе 60-х годов. Выброшенный из рая бессознательности, Иван вместе с опытом зла и греха обрел, пройдя через испытание, духовную инициацию, опыт свободы и опыт смерти. После таких событий не возвращаются к людям в прежнем виде. Знание сокровенной тайны бытия меняет человека до неузнаваемости.

Что же произошло с Иваном дальше, когда он выбрался из заколдованного леса?

А ничего особенного. И это обидно. Писатель не справился с обвалившимся на него грузом познания – и снял его со своих плеч и с плеч своего героя, постарался забыть о неприятном сюрпризе мироздания.

Жажду вечности Белов попытался утолить простым средством. На вооружение была взята незамысловатая идея: если жизнь есть, то это уже само по себе ее оправдывает. *«Жись. Жись, она и есть жись... надо, видно, жить, деваться некуда»*. Таков-де извечный порядок бытия.

Вспышка духовного сознания признана ненужным сумасбродством. Поблажил человек, поубивался – и довольно. Такова «жись».

Личный опыт не понадобился Ивану Африкановичу – и он сдался, растворил его в опыте общем, забыл о личном, затаил личное на донышке души. Явление писателя, родственного традиции высокой русской классики, не состоялось. Позднее Белов уже ни разу не заставит читателя остолбенеть перед проклятыми, роковыми вопросами. Он закрыл эту дверь навсегда. <...>

* * *

Логика творческой эволюции вела многих «деревенщиков» к уходу от очеркового жизнеописания. Очеркист стал мифотворцем. Скажем, Белов своим «Ладом» решительно порвал с жизнеподобием. Никакой сплошной реальности за его идиллическими картинами не стоит. В целом они – плод мечтания, неудовлетворенного наличной действительностью. Разрозненные наблюдения и черты патриархальной идиллии невозможно соединить в единство реального жизненного уклада без усилия, равнозначного насилию. <...>

Здесь не место анализировать причины упадка старой, традиционной деревни. Ограничусь фиксацией очевидного факта: ее

больше нет. С фактом этим были принуждены считаться и «дере-венщики». Знаком творческого кризиса и перелома стала мутация жанра. Писатель колеблется между одой и сатирой. С одной стороны, прежний лад. С другой – попытка правдоподобно воссоздать современный мир, заполненный неприкаянными героями. Они блуждают по свету и не ведают, что им нужно, во что им верить и что такое вера вообще.

Катятся по стране перекасти-поле, от прежней жизни отставшие, к новой не приставшие. Несчастненькие, пьяненькие, жалкие людишки. Таких немало в прозе Астафьева, Белова, Распутина. Монотонным, бледным полотном разворачивается перед читателем их мелкая жизнь. Это – жертвы большого города-бедлама, где нет никакого порядка, а один только хаос. Люди не выдерживают нагрузок существования без надежной точки опоры и не в состоянии в одиночку достичь нравственных высот, даже если душа у них куда-то стремится. Душе без почвы не оттолкнуться для полета. И вот в позднем беловском романе «Все впереди» господствующей породой городских жителей становятся алкоголики и любострастники. Каждой своей порою смердит их жизнь и в прозе Астафьева конца 80-х годов.

И все же иногда на первый план в повествовании опять выходит персонаж иного склада. В чем-то он похож на праведника. Но если праведник обычно списан с натуры, являет собою реальный тип жизни, то новый герой имеет иное происхождение. Это во многом второе «я» автора: герой-резонер. Он не столько действует, сколько вещает, рассуждает, поучает и печалуется. Бытовой нравоописательный очерк замещается или дополняется, таким образом, публицистическими монологами и диалогами.

Наиболее уместны в новой роли, конечно, люди с жизненным опытом, старики и старухи. Это хранители вековых традиций, они аккумулируют память и оберегают от порчи обычаи. Их речи – кладезь премудрости. Обобщив выводы из учения резонеров, можно утверждать, что надобно жить по правде, честно трудиться, не вредить людям, что раньше жили по совести и стыдливо, у всего мира на виду, теперь норовят поодиночке и без стыда. Старина благородна, новизна сомнительна.

Резонеры учат нравственности, которая продиктована нормами среды, традиционными заповедями. Она требует личных усилий, но основана на силе общественного мнения. Такую этику называют этикой стыда, отличая ее от более личностно мотивированной этики совести.

Для совести важны внутренние побуждения. Для стыда – что скажут соседи. Совесть питается интуицией. Стыд основан на соблюдении правил. Чтобы оценить совесть, нужно понять человека изнутри. О стыде судят снаружи. <...> Раньше судить было легко, потому что имелаась четкая шкала формальной нормы. Теперь такой шкалы нет, к новой жизни старые нормы не подходят – и все пришло в беспорядок, ничего не понять. <...>

* * *

Стоическое правдолюбство героя-борца внешне напоминает поведение юродивого, обличающего испроказавшийся мир. Можно найти сходство и с героями ветхозаветной истории: пророками иудейскими, обличавшими свой народ за неисполнение договора с Богом, а также законниками, которые воспитывали народ, наставляли его в знании и исполнении строгих правил, регулирующих самые мелкие подробности будничной жизни.

Вообще без ветхозаветных аналогий не обходится, когда читаешь или слушаешь «деревенщиков». И дело не только в их пророческом пыле. Идеи «обетованной земли», «избранного народа» под разными псевдонимами живут в сознании наших авторов. <...>

Герой «деревенской прозы» подчиняется наперед заданной бытовой норме. Его жизнь обращается в сплошной ритуал. Всякое неритуальное действие выглядит как самовольство, дерзость, разбой. Религия традиционного быта требует в жертву от человека свободу. Но в результате он не способен опереться на себя и создать собственную, автономную систему морали, не зависящую от причуд социального климата, от норм той или иной среды. Не обладая личным началом, он не может вступить и в личный контакт с абсолютном.

Может быть, разочарование «деревенщиков» в старых моральных догмах коммунизма наступило раньше, чем у них возникла осознанная потребность в личностном самоопределении? Как бы то ни было, они остались очень советскими людьми. Коллективизм такого рода делает человека заложником среды <...> Если традиционный, малоподвижный быт вызывает к жизни традиционных героев, то, с другой стороны, нерушимая связь с традицией ограничивает их возможности, подчиняет их ритуальным, извечно-безличным формам существования.

Есть своя глубина и в этике стыда. Стыд может быть регулятором морали в стабильном обществе. Но в момент общественного

распада стыд теряет опору. Тысячи и миллионы <...> в этой ситуации оказываются у разбитого корыта и не знают, как жить дальше.

* * *

Размышляя над бытийными параметрами мира, изображенного «деревенщиками», не находишь в нем Бога. Трансцендентная реальность здесь не осознана. Небеса молчат, глухой стеной нависая над плоской землей. Скорее можно говорить о пантеизме. Он наглядно, рельефно извещает о себе у Распутина, который в «Прощании с Матерой» изображает таинственного зверушку, полудуха-полудемона — Хозяина, надзирающего за порядком на своем острове. Просвещенные критики объявили этот образ символическим, но ничто не мешает принять слова писателя всерьез, как свидетельство о том, что Распутин искренне верит в такие создания природы и почитает их. *«Если в избах есть домовые, то на острове должен быть и хозяин. Никто никогда его не видел, не встречал, а он здесь знал всех и знал все, что происходило из конца в конец и из края в край на этой отдельной, водой окруженной и из воды поднявшейся земле».*

Но как же тогда быть с многочисленными и пространными публицистическими выступлениями того же Распутина, насыщенными христианской терминологией? <...> Складывается впечатление, что христианство принято некоторыми неопитами только потому, что когда-то оно было официальной религией на Руси, официально христианская вера считалась верой русского народа. А куда мы без народа?

На самом деле в народной гуще рядом шли вера и неверие, глубокие мистические прозрения соседствовали с элементарным суеверием, с магическим обрядоверием. Неудивительна обрядовая, магическая вера среди простонародья. Удивительно, что те, кто претендует на роль учителей толпы, пастырей, смешивают в своем сознании мед с дегтем. <...>

С наступательным пылом литераторы отстаивают традиционные моральные ценности, берут под защиту крестьянина от коварных горожан, обличают всевозможное внешнее зло. Но удастся им немного. Ведь злу и его демоническим носителям с самого начала разрешено все. Злое начало бытия обладает той беспредельной свободой, которой не знают адепты добра. Это делает активность зла поистине необоримой и настраивает наших литераторов на апокалипсический тон. Мир наполняется масонскими знаками, имеющими таинственную, магическую силу. В самом звучании слова

«могендовид», например, есть что-то такое, отчего трепещет непорочная душа русского человека...

Все это можно воспринимать иронически, можно сочувственно, можно драматически. В конце концов нельзя не признать, что в своей святой борьбе с всесветным злом писатели-«деревенщики» делают и немало полезного. Их экологическая озабоченность, восходящая к представлению об органической взаимосвязанности человека и природы, принесла свои плоды, и реки у нас пока текут куда текли, и Байкал еще не до конца изгажен...

Иногда этих писателей называют консерваторами, и это звучит теперь одобрительно. Мы устали от плохо обеспеченного гуманностью прогрессизма, от исторических экспериментов. Очень хочется чего-то прочного, надежного, цельного. А писатель как раз вдохновлен красотой прежнего обряда и обихода.

Но проблема русского консерватизма не столь проста. Честно говоря, не совсем понятно, чему же здесь учиться. Быту, ритуалам? Но мыслимо ли перенести старые формы жизни в наше сегодня? Реальна ли эта задача? И главное: перспективна ли самодовлеющая забота о формах жизни? <...>

XX век показал нам, как быстро и решительно разваливается более-менее цельно организованная жизнь, как на клочки разлетается налаженный было уклад в катаклизмах и сшибках эпохи. Быт держится, пока его некому тронуть.

С другой стороны, мы уяснили себе, что идеал «Лада» вполне абстрактен, он есть плод умозрительного конструирования. В нашей многострадальной истории было много всякого, но никогда, кажется, не было всецелой гармонии, осуществленной не в мечтах, а въяве. <...>

Программа консервации идеального быта таит в себе глубокие противоречия и не может быть принята без ревизии. Это нужно признать, как признали в конце концов некоторые русские славянофилы XIX века, углубившись в изучение допетровской Руси, что она далека от сочиненного ими идеального образа. Однако сегодня за чистоту теории заплачено отказом от критики и анализа. Миф не подлежит логическому исследованию. <...>

* * *

<...> «Деревенская проза» зафиксировала неудовлетворительное состояние мира – и кто нынче скажет, что солгала? Она осудила приметы зла – и кто возьмет зло под защиту? Эта литература испол-

нена чувства внутренней правоты. Писатель, не довольствуясь ролью очеркиста-бытовика, хочет стать судьей и пророком, рассыляет гневные громы, призывает чуму на поруганный дом. Вы полагаете, что лучше бы они занимались полноценным художественным творчеством, а в политике и без них найдутся активисты? Но когда русский писатель бежал от злобы дня? Тем паче – писатель, самой логикой своего пути пришедший к прямому, публицистическому слову.

У этой литературы, безусловно, есть свои исторические заслуги. Она честно свидетельствовала о жизни, не уклонялась от многих горьких истин. Не скоро забудутся деревенские праведники – герои Абрамова, Белова... Внушает уважение и стоицизм героев поздней прозы Распутина и Астафьева.

Можно сказать так: хотя в целом «деревенщики» прошли краем эпохи, слабо коснувшись главной ее проблемы – самоопределения личности, на равных встречающейся с государством, народом и Богом, – лучшие произведения «деревенской прозы» займут пусть скромное, но достойное место в русской прозе второй половины XX века.

А можно и иначе, более строго. Писатели-«деревенщики» не знают о свободе человека и не хотят ее. Для них эта свобода – явление чисто отрицательное, нежеланное. Они не подозревают о глубинной укорененности свободы в душе человека. Они забыли, что Христос обращается к этой личной свободе. Человек призван свободно выбрать веру и полюбить Бога. Да и история вселенной и история человечества – не есть ли откровение свободы в мире? Самосознание свободы движет вперед историю...<...>

(Ермолин Е. Пленники бабы Яги // Континент. – 1992. – № 72. – С. 342–366.)